



rocketbook

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ  
ГЁТЕ

*Страдания юного Вертера*



Иоганн Вольфганг Гёте  
**Страдания юного Вертера**

«ЭКСМО»

1774

УДК 821.112.2-31  
ББК 84(4Гем)-44

**Гёте И.**

Страдания юного Вертера / И. Гёте — «Эксмо», 1774

ISBN 978-5-04-097427-6

Молодой Вертер мечтает стать художником. Весь мир для него – источник вдохновения, наслаждения и восхищения. Вертеру даже не нужны краска и холст, он пишет картины в своем воображении. Но в это умиротворенное существование пробиваются трещинки сомнения. Мир слишком строг и суров, и даже самые светлые чувства разбиваются о преграды... «Страдания юного Вертера» – исповедь о запретной любви, которая стала бестселлером своего времени и живо отразилась в сердцах читателей Европы. Одно из выдающихся произведений немецкого и европейского сентиментализма.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-04-097427-6

© Гёте И., 1774

© Эксмо, 1774

# Содержание

Книга первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# **Иоганн Вольфганг Гёте**

## **Страдания юного Вертера**

© Р. Эйвадис, перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

## Книга первая

С усердием и заботливостью собрал я все, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера, и предлагаю ныне на суд читателей, нисколько не сомневаясь в том, что примут они сию повесть с благодарностью. Ум и сердце моего героя не могут не вызывать в них любви и восхищения, а судьба – слез сострадания.

Те же, кому ведомы искушения и муки, выпавшие на долю бедного Вертера, да почерпнут утешение в печальной участи его, книжка же сия да заменит им друга, коль скоро не смогли они обрести оно по воле рока или по собственной вине.

*4 мая 1771 г*

Как рад я, что уехал! Драгоценный друг мой, что за загадка – сердце человека! Оставить тебя, столь любимого мною, тебя, с кем был я неразлучен, – и радоваться! Ты простишь меня, я знаю. Ведь все иные мои привязанности словно нарочно посланы были мне судьбой, чтобы поселить в моем сердце страх и смятение. Бедняжка Леонора! Однако я не чувствую за собой вины. Разве виноват я в том, что пока своенравные прелести ее сестры доставляли мне приятное развлечение, в этом бедном сердце зарождалась страсть? И все же – так ли уж я безгрешен? Разве не питал я вольно или невольно хрупкие ростки ее чувства? Разве не находил для себя некую отраду в искренних проявлениях души, кои столь часто служат нам источником веселья, не заключая, однако, в себе ничего смешного? Разве не был я... О, что за создание – человек, коему дано судить самого себя! Но я исправлюсь, друг мой, непременно исправлюсь, обещаю тебе, что не стану более вновь и вновь пережевывать те мелкие огорчения и неприятности, что преподносит нам судьба, как поступал я прежде; я буду наслаждаться сегодняшним днем, вчерашний же пусть остается в прошлом. Ты прав, дорогой друг мой: страданий было б меньше среди людей, когда б они – Бог весть, отчего они так устроены! – не предавались с такою неутомимою силою воображения любимому своему занятию: воскрешению в памяти минувших бед и огорчений, вместо того чтобы жить отнюдь не менее значимым сегодняшним днем.

Сделай милость, передай моей матушке, что поручение ее выполнил я наилучшим образом и вскоре извещу ее обо всем подробно. Я поговорил с тетушкой и не нашел в ней решительно ничего общего с той злой ведьмой, каковою прослыла она в нашем семейном кругу. Это весьма живая женщина, хотя и строгого нрава, но с необыкновенно добрым сердцем. Я изложил матушкины жалобы по поводу удерживаемой ею нашей доли наследства; она привела свои доводы и причины и назвала условия, при которых готова отдать все и даже более того, что нам причитается. Впрочем, не стану сейчас распространяться об этом предмете; скажи матушке, что все уладится к ее полному удовлетворению. Должен заметить, однако, друг мой, история сия лишний раз убедила меня в том, что недоразумения и косность, пожалуй, производят в мире больше неприятностей, нежели злоба и коварство. Во всяком случае, последние определенно встречаются в жизни реже.

Чувствую я себя здесь превосходно. Одиночество весьма благотворно действует на мою душу в сей райской местности, а весенняя пора, точно созданная для юности, обильно согревает мое зябкое сердце. Каждое дерево, каждый куст кажется букетом цветов, так что хочется, обратившись майским жуком, пуститься по волнам благовоний и пить нектар.

Город сам по себе неказист, зато окрестности полны невыразимой красоты. Сие обстоятельство побудило покойного графа М. разбить сад на одном из холмов, кои, причудливо пересекаясь друг с другом, сходясь и вновь расходясь, образуют восхитительнейшие долины. Сад незатейлив; входя в него, тотчас же замечаешь, что план его начертан был не рукою уче-

ного садовника, но чувствительным сердцем, искавшим здесь уединения и покоя. Не раз, сидя в ветхой беседке, любимом прибежище усопшего, а ныне и моем прибежище, ронял я слезу, поминая прежнего хозяина. Вскоре я стану полноправным владельцем этих куш; садовник уже успел привязаться ко мне, и я постараюсь не разочаровать его.

### *10 мая*

Душа моя полна света и радости, как эти лучезарные весенние утра, которыми наслаждаюсь я с неистовою жаждой. Я совсем один и радуюсь своей новой жизни в здешних краях, словно созданных для таких душ, как моя. Я так счастлив, друг мой, так упоен чувством мира и покоя, что даже искусство мое страдает от этого. Ибо я решительно не могу рисовать, не в силах сделать даже штриха, а вместе с тем никогда еще прежде не чувствовал я себя художником более искусным, нежели в эти мгновенья. Когда вокруг меня дымится туманом долина, а полуденное солнце недвижно висит над непроницаемым пологом темного леса и лишь редкие лучи украдкой просачиваются в его священный мрак; когда я, лежа в высокой траве у шумного ручья, вперив взор в густую, пеструю сеть, сотканную из бесконечного множества былинки, внимаю голосу этого крохотного мира, населенного мириадами загадочных, непостижимых букашек, у самого моего сердца, и чувствую присутствие Всемогущего, сотворившего нас по образу и подобию Своему, дыхание Вселюбящего, несущего нас в Вечность на облаке нескончаемого блаженства, чувствую, как окружающий меня мир и небо покоятся в самой душе моей, словно образ возлюбленной, – тогда меня порою охватывает тоска, и я думаю: ах, если б мог я выразить все это, напечатлеть на бумаге то, что так полно, так горячо живет во мне, дабы образы эти сделались зеркалом моей души, подобно тому, как душа моя есть зеркало предвечного Бога! Но, друг мой, бремя этого чувства, сладостное иго прекрасного слишком тяжело, оно грозит раздавить меня.

### *12 мая*

Не знаю, кому или чему обязан я тем, что все вокруг представляется мне райскими кущами, – коварным духам ли, незримо витающим в сих краях, или собственной фантазии, распалюющей мое сердце. Есть в здешних окрестностях источник, к коему прикован я волшебными чарами, точно Мелюзина<sup>1</sup> со своими сестрами. Спустившись с небольшого холма, вдруг оказываешься ты перед сводами, под сенью которых лестница ступеней в двадцать ведет вниз, где из мраморной скалы бьет хрустальный ключ. Каменная ограда наверху, окаймляющая тенистую рожицу, прохлада – все это притягивает меня с неодолимою силою, точно некая сладостно-жуткая тайна. Я всякий день навещаю туда и провожу там час или более. Приходят из города девушки за водой – безобиднейшее и насущнейшее занятие, коего не чурались некогда и царские дочери. И сидя у источника, я столь остро чувствую патриархальную жизнь, столь живо воображаю, как праотцы наши сводили у колодца знакомство друг с другом, встречали здесь своих суженых, и словно слышу, как реют вокруг колодцев и источников добрые духи. О, понять мои чувства способен лишь тот, кому хоть однажды довелось после долгой, утомительной прогулки жарким днем наслаждаться прохладою лесного ключа.

---

<sup>1</sup> Фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в святых источниках и реках. (Прим. переводчика.)

### *13 мая*

Ты спрашиваешь, не прислать ли мне мои книги. Заклинаю тебя, дорогой мой: избавь меня от сей напасти! Я не желаю более назиданий, ободрений, прищипориваний, ибо сердце мое и без того кипит, не ведая покоя; мне надобна, напротив, колыбельная песнь, которую и нашел я здесь с преизбытком в моем Гомере. Как часто баюкаю я свою волнующуюся кровь! Более своевольного, более мятежного сердца не сыскать во всем свете. Дорогой мой, мне ли говорить это тебе, тому, кто так часто принужден был горестно взирать на мои перемены от печали к безудержному веселью, от сладостной меланхолии к губительной страсти? Вдобавок я еще и пестую свое взбалмошное сердечко словно больное дитя, беспрекословно исполняя все его капризы. Однако ж не передавай никому моих признаний; есть люди, которые сурово осудят меня за них.

### *15 мая*

Простолюдины сего городишки уже знают и привечают меня, особенно детвора. Между тем сделал я одно печальное наблюдение: когда вначале своего пребывания здесь я заговаривал с ними, дружелюбно расспрашивая о том о сем, некоторые из них думали, что я насмехаюсь над ними, и отвечали мне грубостью. Но это не оттолкнуло меня от них; я лишь отчетливее чувствовал то, что давно уже заметил: люди, принадлежащие к привилегированным сословиям, нарочито холодны с простым народом и стараются держаться от него подальше, словно опасаясь навредить себе близостью к низшему званию; впрочем, встречаются среди них ветреники и злые насмешники, будто бы снисходящие до бедняков, чтобы тем болезненнее выказать им свое высокомерие.

Я знаю, равенства меж нами нет и быть не может, однако же держусь того мнения, что человек, почитающий необходимым сторониться так называемой черни, дабы возвыситься в глазах окружающих, подобен трусу, бегущему от врага из страха перед поражением.

Недавно был я вновь у источника и повстречал там молоденькую служанку, поставившую свой кувшин на нижнюю ступеньку лестницы и поглядывавшую наверх в ожидании других девушек, которые помогли бы ей водрузить его на голову. Я спустился вниз и посмотрел на нее.

– Дозвольте помочь вам, сударыня, – молвил я ей.

– О нет, что вы, сударь! – отвечала она, зардевшись как маков цвет.

– Ну же, без церемоний, – настаивал я.

Она поправила круглую подушечку на голове, и я поставил на нее кувшин. Поблагодарив, она стала подниматься наверх.

### *17 мая*

Я свел множество знакомств, хотя и не вхож покамест ни в один дом. Не знаю, чем могу я быть столь привлекателен для окружающих: многим я тотчас прихожусь по нраву, они охотно составляют мне компанию, разделяя со мною часть пути, и мне грустно расставаться с ними, если пути наши скоро расходятся. Если спросишь ты, каковы люди в этом местечке, я должен буду ответить: как и в любом ином! С родом людским всюду дело обстоит одинаково. Большинство трудится не покладая рук, чтобы жить, те же крохи свободы, что остаются им, так пугают их, что они торопятся избавиться от них любыми способами. Вот удел человека!

Однако народец славный! Когда порою, забывшись, я разделяю с ними те немногие радости, что жизнь все же дарует человеку, – благочинное застолье, сдобренное простодушными,

дружелюбными шутками, конную прогулку по окрестностям, танцы и тому подобные увеселения, – это производит на меня весьма благотворное действие; главное, не вспоминать в эти минуты о других силах, томящихся во мне и пропадающих втуне, которые принужден я усердно скрывать. Ах, как это теснит сердце! Увы, быть непонятым есть печальный жребий таких, как я.

О, зачем не стало подруги моей юности! Зачем только судьба свела меня с нею! Я сам говорю себе: глупец! ты ищешь то, чему нет места под луною! Но ведь была же она, я чувствовал это сердце, эту необыкновенную душу, пред которыми и сам я казался себе чем-то большим, чем был в действительности, ибо я был всем, чем только мог быть. Боже праведный! Во мне поистине не оставалось в те дни ни единой силы, лежащей под спудом. Пред нею рождалось во мне во всей полноте своей то дивное чувство, что позволило мне объять сердцем весь мир. Встречи наши были благодатнейшею почвою, на которой непрестанно возрастали и распускались цветы тончайших ощущений, остроумнейших мыслей и шуток, и все эти проявления духа, равно как и множественные вариации их, отмечены были печатью гениальности. И вот все исчезло! Она была старше меня годами и рано сошла во гроб. Никогда не забыть мне ее светлого ума и всепрощающей, ангельской кротости.

Несколько дней тому назад встретил я некоего Ф., открытого, приветливого юношу чрезвычайно приятной наружности. Он только что вышел из университета, и хотя не считает себя мудрецом, но полагает, что знает более других. Впрочем, на студенческой скамье был он, кажется, отменно усерден, что могу я заключить по многим признакам, словом, имеет весьма недурные познания. Услыхав, что я рисую и владею греческим (явления, для здешних мест равные по значению падению метеоритов), поспешил он отрекомендоваться мне и усердно старался осчастливить собеседника сведениями из всех областей, от Баттё<sup>2</sup> до Вуда<sup>3</sup>, от де Пиля<sup>4</sup> до Винкельмана<sup>5</sup>, уверяя между прочим, что от начала до конца прочел первую часть теории Зульцера<sup>6</sup> и что имеет вдобавок рукопись Гейне<sup>7</sup> об изучении античности. Я не стал подвергать сомнению сии уверения.

Познакомился я еще с одним славным господином, княжым амтманом<sup>8</sup>, человеком общительным и простодушным. Сказывают, будто его непременно надобно видеть в кругу его детей, коих у него девять; мол, сие есть на редкость отрадное зрелище. В особенности же хвалят старшую дочь его. Он пригласил меня к себе, и я намерен посетить его в один из ближайших дней. Живет он в княжьем охотничьем замке, в полутора часах отсюда, куда позволено было ему переселиться после кончины его супруги, так как пребывание в городе и в казенной квартире еще более усугубляли его скорбь.

Попадалось мне также с полдюжины юродствующих оригиналов, в коих все невыносимо, наипаче же – их дружба.

Прощай! Письмо мое придется тебе по вкусу, ибо имеет характер исключительно повествовательный.

---

<sup>2</sup> Шарль Баттё (1713–1780) – французский эстетик, видный представитель классицизма. (Прим. переводчика.)

<sup>3</sup> Роберт Вуд (1716–1771) – шотландский археолог. (Прим. переводчика.)

<sup>4</sup> Роже де Пиль (1635–1709) – французский искусствовед и художник. (Прим. переводчика.)

<sup>5</sup> Иоганн Винкельман (1717–1768) – немецкий археолог, искусствовед, автор известного труда «История искусства древности». (Прим. переводчика.)

<sup>6</sup> Иоганн Зульцер (1720–1779) – немецко-швейцарский эстетик и философ. (Прим. переводчика.)

<sup>7</sup> Христиан Гейне (1729–1812) – профессор классической филологии в Гёттингене. (Прим. переводчика.)

<sup>8</sup> Нем. Amtmann – уездный судья; управляющий. (Прим. переводчика.)

## 22 мая

То, что жизнь человеческая есть всего лишь сон, замечали уже многие; вот и я неразлучен с этим ощущением. Когда я думаю об узилище, в коем заключены созидательные, творческие силы человека, когда вижу я, что все действие их сводится исключительно к удовлетворению потребностей, не имеющих иной цели, кроме как продлить наше жалкое существование, и что всякий покой, даруемый нам определенными плодами пытливого разума, есть лишь грезы отчаяния, расписывающие стены нашей темницы яркими образами и светлыми далями, – все это, дорогой мой Вильгельм, затворяет мои уста. Я возвращаюсь в себя и нахожу там иной мир! Опять же призрачный, рисуемый мне скорее смутным чувством и темною жаждою, нежели зримо-осязаемый и полный живой силы. И все расплывается перед внутренним моим взором, и я, улыбаясь, словно во сне, вновь обращаю его на мир здешний.

Все высокоученые школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не ведают природы своих желаний. Однако мало кто верит в то, что взрослые недалеко ушли от детей, что они столь же беспомощно блуждают в потемках и немногим более могут поведать о том, откуда пришли и куда идут, а поступки их столь же мало сообразуются с благими целями, и что управляют ими в той же мере посредством кнута и пряника. Мне же представляется, что истины более очевидной и не придумать.

Памятуя твое мнение на сей счет, осмелюсь доложить тебе: счастливы те из них, что подобно детям живут нынешним днем, возятся со своими куклами, наряжают и переодевают их, с большою опаскою и немалым вожделением ходят вокруг буфета, в коем матушка заперла сласти, а получив наконец желаемое, уплетают лакомства за обе щеки и требуют еще. Счастливые создания! Блаженны и те, кои жалкие, презренные занятия свои или, паче чаяния, страсти наделяют благозвучными именами и выдают оные за неслыханные подвиги во имя пользы и спасения человечества. Благо тому, кто может быть таким! Тот же, кто в смиренности своем зрит тщету сих многообразных ухищрений; кто видит, как всякий довольный своим уделом бюргер посредством ножниц искусно обращает в рай свой садик и как невозмутимо влачит свое бремя, кряхтя и отдуваясь, несчастливец, и все в равной мере желают продлить удовольствие видеть свет солнца хотя бы на одну лишь минуту, – тот безмолвствует и творит свой мир в себе самом и тоже счастлив тем, что он – человек. И как бы ни был он ограничен обстоятельствами и условиями, он все ж питает в сердце своем сладостное чувство свободы и сознание того, что в любой миг может покинуть свою темницу.

## 26 мая

Ты знаешь мое свойство с легкостью приживаться на новом месте, мое умение найти приют где-нибудь в укромном уголке и жить, довольствуясь самым необходимым. Отыскал я такое местечко и здесь.

В часе пути от города, на живописном холме находится деревушка, называемая Вальгеймом<sup>9</sup>. Месторасположение ее весьма примечательно; поднявшись по тропе наверх, вдруг увидишь всю долину. Приветливая хозяйка, довольно ловкая и расторопная для своего возраста, угощает вином, пивом, кофе; более же всего радуют меня здесь две раскидистые липы, осеняющие густыми ветвями своими маленькую площадь перед церковью, вокруг которой теснятся крестьянские дома, сараи и дворы. Более уютного, более отрадного для глаз уголка не встречал я давно. Велев вынести под липы мой столик и стул, я пью кофе и читаю своего Гомера.

---

<sup>9</sup> Читатель может не утруждать себя поисками названных здесь мест: мы почли за необходимость изменить встречающиеся в оригинале подлинные имена и названия.

Когда я впервые случайно забрел сюда и очутился под липами, деревушка, объятая после-полуденной тишиною, казалась вымершей. Все трудились в поле; один лишь мальчуган лет четырех сидел на земле, прижимая к груди другого малыша, полугодовалого младенца, сидевшего у него между ног, служа ему как бы креслом. Тот, несмотря на живость своих черных глаз, сидел покойно. Я нашел сию картину весьма занятой и, присев на плуг, стоявший напротив, с превеликим удовольствием запечатлел сцену братских объятий. Затем присовокупил я к изображенному ближайшую ограду, ворота сарая и несколько сломанных тележных колес, все как было, без всяких прикрас и перемещений, и по прошествии часа обнаружил, что у меня вышел очень недурной, ладный и интересный рисунок, к которому не прибавил я решительно ничего от себя. Это утвердило меня в моем намерении держаться впредь только природы. Лишь натура, лишь природа бесконечно богата, лишь она одна создает великого художника. Можно многое сказать в защиту правил и законов искусства, приблизительно то же, что говорится в защиту общественных правил. Художник, воспитанный сообразно правилам, никогда не создаст ничего дурного и пошлого, подобно тому как человек, сложившийся под влиянием законов и правил благопристойности, никогда не станет несносным соседом или записным злодеем; однако ж, с другой стороны, что бы мне ни говорили, правила неминуемо убьют подлинное чувство природы и подлинную выразительность! Ты скажешь: «Чересчур категоричное сужденье! Они лишь ограждают, подрезывают своевольную лозу» и т. п. Друг мой, позволь мне прибегнуть к сравнению. Тут все обстоит так же, как с любовью. Вообрази юношу, питающего нежную привязанность к девушке, который проводит всякий день у ее ног, щедро расточает свои силы, ежеминутно выражая ей свою беззаветную преданность. И тут является некий филистер, человек, состоящий в статской службе и облеченный чинами, и говорит ему: «Милостивый государь! Любовь свойственна человеку, однако ж и любить должно по-человечески! Разделите ваши часы между трудом и досугом и посвящайте последний вашей избраннице. Считайте ваше имение, и на то, что останется вам от расходов на насущные нужды, не возбраняется вам делать ей время от времени подарки, однако не часто, а лишь ко дню рождения, именинам и т. п.». Последует юноша доброму совету, выйдет из него толк, и я первый рекомендовал бы любому князю усадить его в одну из коллегий. Вот только с любовью его было бы покончено, а если он художник, то с живописью. О, друзья мои! Отчего гений столь редко вырывается на волю из плена своей брэнной оболочки, столь редко изливается бурным, сверкающим потоком, потрясая ваши смущенные души? Друзья мои, да оттого, что по обоим берегам сего потока живут невозмутимые господа, которых беседки, клумбы с тюльпанами и грядки с овощами погибли бы и которые посему заблаговременно возводят запруды и роют каналы, дабы отвратить грозящую опасность.

### *27 мая*

За своими восторгами, патетическими излияниями и сравнениями я забыл рассказать тебе, чем закончилась история с детьми. Погруженный в своих раздумьях о судьбах искусства, кои изложил я тебе в предыдущем послании довольно беспорядочно, просидел я на упомянутом плуге добрых два часа. Наконец под вечер явилась молодая женщина с корзинкою на руке и, направляясь к малышам, которые во все время не двинулись с места, еще издали крикнула:

– Филипп! Ай да молодец!

Мы поздоровались, я встал, подошел ближе и осведомился, ее ли это дети. Она ответила утвердительно и, дав старшему кусок булки, взяла на руки младенца и расцеловала его со всею возможною материнскою нежностью.

– Я оставила Филиппа с малышом, – сказала она, – а сама с старшим сыном пошла в город купить белого хлеба, сахару и глиняную миску для каши. – Все это увидел я в ее корзинке,

крышка которой откинулась. – Сварю Гансу (так звали младшего) вечером супчику. Мой старшенький, сорванец этакий, разбил вчера миску, не поделив с Филипсом корочки на дне.

Я спросил, где же старший, и едва она успела ответить, что он гоняет на лугу гусей, как тот прибежал вприпрыжку и вручил брату ореховый прутик. Продолжая беседовать с женщиной, я узнал, что она дочка деревенского учителя и что муж ее отправился в Швейцарию за наследством, оставшимся после смерти сродственника.

– Они хотели обойти его, – пояснила она, – и не отвечали на его письма, вот он и поехал. Боюсь, как бы не случилась с ним какая-нибудь беда: нет от него никаких вестей.

Насилу распрощавшись с нею, я подарил каждому из мальчуганов по крейцеру, вручил матери монету и для маленького, наказав принести ему в следующий раз из города булку к супу. На том мы и расстались.

Скажу тебе, бесценный друг мой: когда чувства распирают мне грудь и рвутся наружу, нет лучшего средства усмирить сей бунт, нежели зрелище подобного существа, шествующего с счастливою невозмутимостью по узкому кругу своего бытия, терпеливо преодолевающего день за днем и при виде облетающей листвы ни о чем не помышляющего, кроме того, что она есть предвестник зимы.

С того дня я часто бываю там. Дети привыкли ко мне, я балую их сахаром, когда пью кофе, и делю с ними по вечерам свои бутерброды и простоквашу. По воскресным дням они неизменно получают свои крейцеры; если же меня нет после обедни, то монеты передает им по моему наказу хозяйка харчевни.

Они совершенно освоились со мною, доверчиво рассказывают мне обо всем на свете, особенно же меня забавляют их маленькие страсти и бурные проявления простодушных желаний, когда к ним присоединяются другие дети из деревни.

Немалых усилий стоило мне уверить их мать, что они вовсе не докучают мне своею дружкой.

### *30 мая*

То, что я давеча говорил о живописи, несомненно, касается и поэзии; надобно лишь распознать совершенство и дерзнуть выразить его, однако ж этим немногим сказано многое. Сегодня случилось мне наблюдать сцену, которая, спиши ее с природы в чистом виде, являла бы собою прекраснейшую идиллию. Но к чему все это? «Поэзия», «сцена», «идиллия»! Неужто всякий раз при виде замечательного явления жизни или природы нам непременно надобно хвататься за перо, ваяло или кисть?

Если за этим вступлением ты надеешься найти повествование о материях высоких и тонких, то вновь будешь жестоко обманут: речь пойдет всего лишь о простом крестьянском парне, вызвавшем во мне живейшее участие. Я по обыкновению окажусь никудышным рассказчиком, ты же, вероятно, по обыкновению сочтешь мой рассказ преувеличением; а источником сей удивительной истории вновь стал Вальгейм, все тот же загадочный Вальгейм.

Небольшая компания устроилась под липами пить кофе. Поскольку мне она была не совсем по душе, я под благовидным предлогом остался за своим столиком.

Из ближайшего дома вышел молодой крестьянин и занялся починкою плуга, который я несколько дней тому назад рисовал. Его наружность располагала к себе, и я заговорил с ним, расспросил о его житье-бытье; мы познакомились и, как это часто бывает у меня с людьми такого склада, подружились. Он рассказал мне, что состоит в работниках у одной вдовы и что очень доволен своею хозяйкой. Из того, как много он о ней рассказывал и как усердно ее хвалил, скоро заключил я, что он предан ей душой и телом. Она уже немолода, сказал он, покойный муж сильно обижал ее, и потому она не желает больше выходить замуж; из рассказа же его отчетливо явствовало, как хороша она собою в его глазах, как желанна она ему, как он мечтает,

чтобы она согласилась выйти за него, надеясь изгладить в ее памяти печальные воспоминания о первом замужестве. Мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы живописать тебе чистое, бескорыстное чувство этого парня, его любовь и верность. Да, мне понадобился бы величайший поэтический дар, чтобы вместе достоверно передать тебе и выразительность его жестов, гармонию его голоса, затаенный огонь в его глазах. Увы, словами не высказать той нежности, которая сквозила во всем его облике; что бы ни говорил я, все выходило бы неуклюже и пошло. Особенно тронули меня его опасения, что я могу превратно истолковать его отношение к ней и усомниться в ее добропорядочности. Мне ни за что не донести до тебя всей прелести его описаний наружности вдовы, ее стана, столь пленительного для него, даже несмотря на то, что он уже утратил былую гибкость и притягательность. Никогда еще не встречал я в своей жизни – и даже помыслить и вообразить себе не мог – столь жаркой страсти и столь жгучего вожделения в сочетании со столь удивительной чистотой. Не спеши бранить меня, если я скажу тебе, что при одном только воспоминании об этой целомудренности и искренности у меня горит душа и меня теперь повсюду преследует этот образ верности и любви и что я сам, точно воспламенившись от нее, томлюсь и изнываю от тоски.

Теперь мне хотелось бы поскорее увидеть и ее; а впрочем, по некотором размышлении, мне следовало бы, напротив, избежать встречи с нею. Лучше видеть ее влюбленными глазами этого парня, ибо своими глазами я, быть может, увижу ее совсем иною, нежели представляется она сейчас моему внутреннему взору; зачем же мне портить прекрасный образ?

### *16 июня*

Отчего я не пишу тебе? И ты вопрошаешь меня о том, слывя ученым мужем? Ты мог бы и сам догадаться, что я здоров и всем доволен, и даже... словом – я свел одно знакомство, которое мне очень дорого. Сдается мне, что я... Право, не знаю...

Рассказывать тебе по порядку, как все случилось, как повстречал я это пленительнейшее создание, я решительно не в силах. Я весел и счастлив и, стало быть, не гожусь в историографы.

Сказать ли «ангел»? Тьфу! То же говорят и другие о своих возлюбленных, не правда ли? Однако я не в силах передать и изъяснить тебе ее совершенство; довольно и того, что она завладела всеми моими чувствами и помыслами.

Какое поразительное сочетание простодушия и ума, доброты и твердости, душевного покоя и деятельной натуры, живущей полною мерою!

Все, что я говорю о ней, – не более чем жалкая, гадкая болтовня, убогие абстракции, не отражающие ни единой черты ее существа. В другой раз – нет, не в другой, а непременно теперь, сейчас расскажу я тебе о ней все. Не сделаю я этого сию же минуту, значит, не сделаю уж никогда. Ибо, между нами говоря, начав писать, я не раз порывался отложить перо, велеть оседлать моего коня и ускакать прочь. И хотя я поклялся себе утром не ездить туда нынче, я то и дело подхожу к окну, чтобы посмотреть, не клонится ли солнце к закату.

Я все же не совладал с собою и ускакал к ней. И вот я вернулся, дорогой Вильгельм, и за поздней своей скромной трапезою вновь пишу к тебе. Какое блаженство – видеть ее в кругу резвых пригожих детей, ее восьми братьев и сестер!

Однако, если я продолжу в том же духе, ты в конце моего рассказа будешь знать не более, чем в начале. Слушай же, ибо я намерен принудить себя войти наконец в подробности.

Недавно писал я тебе, что познакомился с амтманом С. и что он просил меня вскоре быть его гостем в его уединенной обители или, вернее, в его маленьком королевстве. Я не торопился исполнить его просьбу и, может быть, вовсе не собрался бы нанести этот визит, если бы не счастливый случай, открывший мне сокровище, таившееся в этом тихом уголке природы.

Здесьняя молодежь положила устроить загородный бал, на котором я с охотою изъясил готовность присутствовать. Я напросился в кавалеры к одной милой, хорошенькой, хотя и

ничем не примечательной барышне, и мы условились, что я найму карету и мы с нею и ее кузиной отправимся к месту увеселения, а по дороге заедем за Шарлоттой С.

– Сейчас вы увидите настоящую красавицу, – сказала моя спутница, когда мы ехали к охотничьему замку широкой лесной просекой.

– Берегитесь же, – прибавила ее кузина. – Не вздумайте влюбиться.

– Почему же? – полюбопытствовал я.

– Она уже обручена, – отвечала та. – С одним достойным человеком, который теперь уехал, чтобы привести в порядок свои дела в связи со смертью отца и получить весьма доходное место.

Сообщение это принял я довольно равнодушно.

Солнце еще не успело скрыться за горами, когда мы остановились перед воротами. Было душно, и девушки выражали тревогу, опасаясь грозы, которую предвещали серые тучи, клубившиеся на горизонте. Я постарался развеять их опасения замечаниями метеорологического толка, исполненными оптимизма, хотя и сам уже предчувствовал, что праздник не обойдется без неприятных сюрпризов природы.

Я вышел из кареты, и служанка, подоспевшая к воротам, сообщила, что мадмуазель Лоттхен просит извинить ее, она сию минуту выйдет. Я прошел к красивому дому в глубине двора, и когда, поднявшись на крыльцо, вошел внутрь, мне представилось прелестнейшее зрелище из всех когда-либо виденных мною. В передней стояла стройная девушка среднего роста, в простом белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах, а вокруг нее столпилось шестеро детей, мал-мала меньше, от одиннадцати до двух лет. Она держала в руках каравай черного хлеба и, отрезая от него куски сообразно возрасту и аппетиту своих маленьких питомцев, наделяла каждого его порцией, да с такой восхитительной приветливостью, а те, протягивая вверх ручонки еще до того, как настанет их черед, кричали ей с такою искреннею радостью: «спасибо!», а затем, в зависимости от характера и нрава, либо вприпрыжку бросались прочь со своею добычей, либо отходили степенно, направляясь к воротам, чтобы посмотреть на гостей и карету, в которой должна была уехать их Лоттхен.

– Прошу меня простить, – сказала она, – за то, что я заставила ваших спутниц ждать, а вам даже пришлось самому пройти в дом, чтобы поторопить меня. За сборами и распоряжениями по дому на время моего отсутствия я совсем забыла про ужин, а дети привыкли получать хлеб лишь из моих рук и не желают слышать никаких отговорок.

Я сделал ей какой-то невразумительный комплимент, в то время как все чувства мои сосредоточены были на ее облике, голосе, жестах, и едва я успел оправиться от удивления, как она ушла в свою комнату за веером и перчатками. Дети между тем поглядывали на меня искоса с некоторого расстояния, и я подошел к самому младшему из них, чрезвычайно миловидному мальчугану. Он попятился было от меня, но тут воротилась Лотта и сказала ему:

– Луи, дай же дяде ручку.

Тот охотно повиновался, я же не мог удержаться и сердечно поцеловал малыша, несмотря на его сопливый носик.

– Дяде? – сказал я, подавая ей руку. – Вы полагаете, что я достоин счастья быть вашим родственником?

– О, наша родня столь многочисленна, что ничуть не пострадает, если к ней прибавится еще один родич, не уступающий своими достоинствами всем прочим.

Уже на ходу она наказала старшей сестре Софи, девочке лет одиннадцати, хорошенько смотреть за детьми и поцеловать от нее папá, когда тот вернется с конной прогулки. Малышам же она велела во всем слушаться свою сестрицу Софи так, как если бы это была она сама, и те наперебой обещали ей это. Одна маленькая белокурая умница лет шести, однако, не преминула заметить:

– Софи – вовсе не ты, Лоттхен. Тебя мы любим сильнее.

Двое старших мальчуганов уже успели вскарабкаться на задок кареты, и по моей просьбе она позволила им доехать с нами до опушки, взяв с них слово крепко держаться и не озорничать.

Едва мы успели устроиться в карете и дамы, поприветствовав друг друга, обменялись замечаниями о туалетах, преимущественно о шляпах, а затем на скорую руку перемыли косточки ожидаемым на балу гостям, как Лотта велела кучеру остановиться, а братьям слезть с запяток; те пожелали непременно еще раз поцеловать ей ручку, и старший сделал это со всею возможною нежностью пятнадцатилетнего кавалера, другой же по-мальчишески горячо и порывисто. Она еще раз передала привет малышам, и мы поехали дальше.

Кузина спросила Лотту, прочла ли та книгу, которую она ей недавно послала.

– Нет, – отвечала Лотта, – она не понравилась мне. Охотно верну ее вам. Предыдущая была, впрочем, не лучше.

Осведомившись, что это были за книги, и получив от нее ответ, я был немало удивлен<sup>10</sup>: во всем, что она говорила, было столько смелости и самостоятельности суждений; с каждым словом открывал я все новые прелести в ее чертах, замечал все новые проблески ее ума, становившиеся тем ярче, чем более чувствовала она мое живое участие и понимание.

– Когда я была моложе, я больше всего любила романы, – говорила она. – Одному Богу известно, как я блаженствовала, устроившись воскресным днем где-нибудь в укромном уголке с книжкою и всем сердцем разделяя счастье и злоключения какой-нибудь мисс Дженни. Не скрою, я и теперь еще нахожу в романах некоторую привлекательность. Но поскольку у меня так редко доходят руки до чтения, то книга должна уж совершенно отвечать моему вкусу. И авторы мне тоже милее всего те, у которых я нахожу свой мир, у которых происходит то же, что и вокруг меня, и чья история интересна и близка мне так же, как моя собственная домашняя жизнь, которая, хотя и далека от райской, однако ж в целом представляет для меня источник несказанного счастья.

При этих словах я постарался скрыть свое волнение. Однако усилия мои оказались напрасными: когда она мимоходом необыкновенно метко высказалась о «Векфильдском священнике»<sup>11</sup> и о...<sup>12</sup>, я, не сдержавшись, поделился с нею своими мыслями об этом предмете и лишь через несколько минут, когда Лотта попыталась вовлечь в беседу наших спутниц, заметил, что те во все это время не сводили с меня изумленных глаз и молчали, словно их тут вовсе и не было. Кузина затем несколько раз скользнула по мне лукаво-насмешливым взором, но меня это нисколько не заботило.

Разговор перешел на танцы.

– Если пристрастие к танцам – порок, – сказала Лотта, – то должна вам признаться, что не знаю более приятного порока. А когда меня одолевают тревоги или огорчения, стоит мне лишь побренчать на своем расстроенном фортепьяно какой-нибудь контрданс, как все мигом проходит.

Как я любовался ее черными глазами! Как упоителен был вид ее живых губ и свежих, румяных щек! Увлеченный восхитительным смыслом ее речей, я порой не слышал слов, которыми она его выражала. Тебе не трудно будет представить себе это, ведь ты меня знаешь. Словом, когда мы достигли цели, я вышел из кареты, точно во сне, и так погружен был в свои грезы, созвучные опускающимся сумеркам, что даже не обратил никакого внимания на музыку, доносившуюся из освещенного зала.

---

<sup>10</sup> Мы принуждены были опустить сию деталь письма, дабы никому не дать повода для обид или возмущения. Хотя, в сущности, любому автору нет дела до мнения барышни и незрелого молодого человека.

<sup>11</sup> «Векфильдский священник» (1766) – роман английского писателя Оливера Голдсмита (1728–1774). (Прим. переводчица.)

<sup>12</sup> Нам и здесь пришлось опустить имена некоторых отечественных сочинителей. Те из них, что удостоились похвалы Лотты, и без того почувствуют это сердцем, прочитав соответствующие строки, остальным же нет нужды знать ее мнение.

Кавалеры кузины и Лотты, господ Одран и некий Н. Н. – разве упомнишь все имена! – встретили нас у кареты и, взяв под руку своих дам, повели их наверх, я со своею последовал за ними.

Мы грациозно лавировали в менуэтах; я приглашал одну девицу за другой, и как назло самые глупые и неказистые не торопились сделать книксен и отпустить меня восвояси. Лотта с своим кавалером между тем начала англес, и мне, верно, нет нужды объяснять тебе, как приятно мне было, когда она проделывала фигуру с нами. Видел бы ты ее танцующей! Она всем сердцем и всею душою отдается танцу, все тело ее исполнено гармонии, она – сама безмятежность, сама непосредственность, словно ничего другого для нее уже не существует и она ни о чем не думает, ничего не чувствует; в эти минуты она определенно забывает обо всем на свете.

Я попросил ее танцевать со мной второй контр-данс; она обещала мне третий, с оборотительной откровенностью признавшись, что страх как любит танцевать немецкий вальс.

– У нас здесь принято, – пояснила она, – чтобы вальс дама танцевала со своим постоянным кавалером, а мой компаньон скверно вальсирует и будет только рад, если я избавлю его от сей повинности. Ваша дама не жалуется вальс по той же причине, а вы, как я заметила еще в англесе, вальсируете отменно. Итак, если вы готовы доставить мне это удовольствие, испросите позволения у моего кавалера, я же отправлюсь к вашей даме.

Я поспешил принять ее предложение, и мы сговорились, что ее компаньон станет развлекать во время вальса мою компаньонку.

И вот грянула музыка, и мы некоторое время с увлечением проделывали различные фигуры посредством сплетения и перевода рук. С какой легкостью и грацией она двигалась! Затем, когда мы начали вальсировать, вращаясь один вокруг другого, словно сферы, вначале, конечно же, не обошлось без толкотни, поскольку в этом танце и в самом деле преуспели лишь немногие. Мы, проявив благоразумие, терпеливо дождались, пока самые неловкие танцоры пристыженно ретируются, и, оставшись лишь с одной парой, Одраном и его дамой, с честью выдержали испытание до конца. Никогда еще не чувствовал я себя столь свободно в танце. Я был уже не человек, но полубог. Держать в объятиях прелестнейшее создание и парить с ним над землею, позабыв обо всем на свете... Ах, Вильгельм, признаюсь тебе, в те минуты я поклялся, что девушка, которую я люблю, которая должна будет стать моею, никогда не закружится в вальсе с другим; я не допущу этого, чего бы мне это ни стоило, даже ценою жизни. Ты ведь понимаешь меня?

Мы сделали шагом несколько кругов по залу, чтобы отдышаться. Потом она села, и добытые мною для нее апельсины, последние еще чудом не съеденные более расторопными гостями, пришлось весьма кстати и произвели превосходное действие, если не считать того, что каждая долька, которой она из вежливости делилась со своей нескромной соседкой, больно ранила мне сердце.

В третьем англесе мы танцевали второю парой. Я с непередаваемым блаженством держал ее руку и любовался ее глазами, в которых явственно виделась мне совершенно искренняя, ничем не прикрытая радость. И тут некая дама, примечательная своим необыкновенно любезным выражением уже немолодого лица, на ходу, в танце, взглянула на Лоттхен с улыбкой и, шутливо погрозив ей пальцем, дважды многозначительно произнесла имя «Альберт».

– Кто такой Альберт? – спросил я Лоттхен. – Разумеется, если вам угодно будет ответить.

Но она не успела удовлетворить мое любопытство, так как нам пришлось расстаться, чтобы проделать большую «восьмерку»; когда же мы вновь сошлись в танце, мне показалось, что в лице ее промелькнула тень каких-то раздумий.

– Не стану скрывать: Альберт – очень славный молодой человек, с которым я, можно сказать, уже обручена.

Казалось бы, в словах ее не было для меня ничего нового (ведь девушки сообщили мне об этом по дороге к замку), и все же они неприятно поразили меня, поскольку я еще не думал

об этом известии применительно к другой Лоттхен, той, что за считанные мгновенья стала мне так дорога. Смутьившись и растерявшись, я перепутал пары, так что весь танец оказался под угрозой, и лишь находчивость и решительность Лоттхен да ее ловкие руки помогли быстро восстановить порядок.

Танец еще не закончился, когда молнии, уже давно поблескивавшие на горизонте и объявленные мною зарницами, заметно усилились и гром стал заглушать музыку. Три дамы вышли из круга, кавалеры их последовали за ними, все смешалось, и музыка наконец смолкла.

Так уж устроен человек, что, когда несчастье или какое-нибудь ужасное происшествие застигает нас в момент веселья, оно производит более сильное действие, нежели в другое время, отчасти в силу контраста, воспринимаемого особенно живо, отчасти и преимущественно потому, что чувства наши раскрыты и обострены и более готовы к восприятию впечатлений. Только этим и мог я объяснить нелепейшие эскапады некоторых дам в ответ на внезапно разразившуюся грозу. Самая благоразумная из них села в угол спиной к окну и зажала уши, другая бросилась перед ней на колени и спрятала голову в складках ее платья. Третья втиснулась между ними и, обхватив руками обеих своих сестриц, залилась слезами. Одни рвались домой, другие, еще менее отдававшие себе отчет в своих действиях, становились жертвами дерзких проказников, которые не нашли себе иной забавы, как срывать с губ перепуганных красавиц их обращенные к небу жалобные мольбы.

Кое-кто из мужчин спустился вниз, чтобы без помех выкурить трубку; остальные же гости с готовностью откликнулись на заманчивое предложение хозяйки перейти в другую комнату со ставнями и плотными шторами. Едва мы перешагнули порог этой комнаты, как Лоттхен велела поставить стулья в кружок и, усадив на них общество, принялась объяснять условия игры.

Я видел, как кое-кто уже жадно сверкал глазами и потирал руки в надежде на пикантный фант.

– Играем в «Веселую цифирь»! – возвестила Лоттхен. – Правила таковы: я хожу по кругу справа налево, и вы считаете так же, справа налево; каждый называет число, которое приходится на него, но чур, не зевать! Считать быстро! Кто замешкается или перепутает число, получает пощечину. Считаем до тысячи.

То-то была потеха! Она пошла по кругу с вытянутой рукой. «Один!» – крикнул первый, «два!» – продолжил следующий, «три!» и так далее. Затем она пошла быстрее, еще быстрее и вот – шлеп! пощечина; тут же, сквозь грянувший смех, – еще одна! А она все ускоряет шаг. Я и сам получил две оплеухи, с отрадой отмечая про себя, что они, как мне показалось, вышли более звонкими, нежели те, что достались другим. Игра закончилась общим хохотом и шумом веселья, прежде чем мы досчитали до тысячи.

Общество рассеялось, парочки уединились; гроза уже миновала, и мы с Лоттой отправились в зал. По пути она сказала:

– За пощечинами они позабыли и грозу и все на свете!

Я не нашелся, что ответить на это.

– Я испугалась больше всех, – продолжала она, – но, изображая невозмутимость, чтобы подбодрить других, я и сама набралась храбрости.

Мы подошли к окну. Где-то вдалеке раздавались глухие раскаты грома, шелестел ласковый дождь; снизу, от земли, веяло теплом, а в воздухе разливались упоительнейшие ароматы. Она стояла, облокотившись на подоконник, взгляд ее устремлен был куда-то во тьму. Потом она посмотрела на небо, повернулась ко мне, и я увидел в глазах ее слезы. Положив мне на руку ладонь, она сказала:

– Клопшток...<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Фридрих Готтлиб Клопшток (1724–1803) – немецкий поэт. (Прим. переводчика.)

Я тотчас вспомнил великолепную оду, которую она имела в виду, и меня захлестнула волна чувств, вызванных этим одним-единственным словом из ее уст. Теперь уже сам ослепнув от сладостных слез, я не сдержался и, наклонившись, поцеловал ее руку. И вновь посмотрел в ее глаза... О, благородный певец! Если бы ты видел этот взор и прочел в нем восторг, внушенный тобою! Да заградит Господь отныне кощунственные уста, произносящие твое имя всуе!

### *19 июня*

Не помню, чем закончил я свой предыдущий рассказ; знаю лишь, что до постели добрался я в два часа пополудни и что если бы была у меня в ту ночь возможность прибегнуть вместо письма к устному рассказу, то верно продержал бы я тебя своею болтовней до утра.

Я еще ни словом не обмолвился о том, как мы возвращались с бала, да и сегодня нет у меня времени расписывать все подробно.

То был божественный рассвет. Лес, еще каплющий серебром, поля, освеженные грозою... Спутницы наши задремали. Она спросила, не желаю ли и я последовать их примеру, мол, пусть меня не стесняет ее присутствие.

– Пока я вижу перед собой ваши глаза, – отвечал я, твердо глядя ей в лицо, – мне не грозит никакая дремота.

И мы оба бодрствовали до самого ее дома. Служанка, тихо отворившая ворота, сообщила, что и батюшка, и дети в полном здравии и еще почивают. Прежде чем расстаться с нею, я просил позволения увидеть ее нынче же; она согласилась, я приехал, и с той минуты мне дела нет, что на дворе – день или ночь, солнце сияет или месяц; весь мир вокруг меня словно исчез в тумане.

### *21 июня*

Я переживаю такие счастливые дни, какими Господь Бог жалует лишь своих святых; и теперь, что бы со мною ни случилось, – я не стану роптать на судьбу, ибо уже довольно вкусил радостей, чистейших радостей жизни. Ты знаешь уже мой Вальгейм; там-то я теперь и обосновался, оттуда мне лишь полчаса до Лотты, там я чувствую себя самым собою и имею все счастье, какое может быть даровано человеку.

Мог ли я знать, избрав Вальгейм целью своих длинных прогулок, что он так близок к небесам! Как часто видел я этот охотничий замок, ставший теперь вместилищем всех моих желаний, то с горы, то с равнины через реку!

Дорогой мой Вильгельм, я много размышлял о присущей человеку тоске по неведомым далям, жажде странствий, новых открытий, которая уживается в нем с глубоко укоренившейся в душе его готовностью к ограничениям, подспудным желанием влачиться в русле привычного и знакомого, не глядя по сторонам, не заботясь о том, что происходит вокруг.

Удивительно! Когда я впервые оказался в сей местности – как манили меня эти дали! Там лес – ах, как хочется вступить под сень его густых деревьев! Там вершина горы – ах, если бы подняться на нее и обозреть сверху бескрайние просторы! А этот зеленый лабиринт холмов и долин – как сладко было бы затеряться в нем! Я спешил то к одной, то к другой цели, и возвращался, не найдя того, что искал. О, с далями дело обстоит так же, как и с грядущим! Впереди мерцает некая безбрежная туманная бездна, в коей тонет наше око, растворяются наши чувства, и мы, объятые неизъяснимою тоской, готовы полететь к ней, кануть в нее всей душой и всем сердцем, в сладкой муке исполниться единого, великого, божественного чувства. Но, увы! Когда мы устремляемся туда, когда это недостижимое «там» становится близким и доступным «здесь», мы не находим никакой разницы между прошлым и настоящим и вновь

оказываемся лицом к лицу с убожеством и ограниченностью нашего существования, и душа наша мучится неутоленной жаждой ускользнувшего блаженства.

Так самый неумный бродяга в конце концов вновь впадает в тоску по отечеству и находит в своей хижине, на груди у супруги, в кругу детей, в заботах и тяготах, связанных с печением об оных, блаженство, которое тщетно искал он на чужбине.

Когда я, выйдя с рассветом из дому и добравшись до Вальгейма, сам срываю себе в огороде при трактире стручки гороха, затем вылушиваю его, читая своего Гомера; когда выбрав в маленькой кухне подходящий горшок и сдобрив горох маслом, я ставлю его на огонь, накрыв крышкой, и сажусь подле очага, чтобы время от времени помешивать в горшке, – я живо воображаю себе, как дерзкие женихи Пенелопы закалывают, разделяют и жарят быков и свиней. Ничто не может исполнить меня такого глубокого, истинного мироощущения, как черты патриархального быта, которые мне, слава Создателю, удастся без аффектации вплетать и в свою жизнь.

С каким живым участием я мысленно разделяю простую, незатейливую радость труженика, принесшего в дом свой кочан выращенной им собственноручно капусты и вкушающего не только от плода своего труда, но и как бы заново наслаждающегося прекрасным утром, коим он посадил эту капусту, и ласковыми вечерами, коими заботливо поливал ее, с отрадой отмечая, как быстро она растет и наливается соком.

## 29 июня

Третьего дня приезжал к амтману лекарь из нашего городишки и нашел меня на полу, барахтающимся с братьями и сестрами Лотты, из коих одни карабкались по мне, другие тормозили меня, я же щекотал их, так что вместе мы производили немало шума и смеха. Доктор, этакая заводная кукла, ученый шут, начиненный одними лишь догмами, во время беседы беспрестанно теребящий свои манжеты и разглаживающий воображаемые складки на сюртуке, счел мое поведение недостойным человека из общества; я заметил это по выражению его носа. Нисколько не смутившись столь суровым осуждением, я вполуха слушал его разглагольствования о различных серьезных предметах, заново выстраивая детям разрушенные ими карточные домики. Он же, воротившись в город, стал жаловаться на каждом углу, что манеры детей амтмана и без того оставляют желать лучшего, а теперь Вертер довершает их растление.

Да, дорогой мой Вильгельм, дети мне ближе всего в этом мире. Когда я смотрю на них и вижу в том или ином маленьком существе зерна всех добродетелей, всех сил, кои однажды понадобятся ему; когда в детском своеволии я вижу будущую стойкость и твердость характера, а в озорстве – юмор и легкость нрава, столь необходимые в преодолении опасностей, и все это в первозданном, неискаженном, целостном виде, – я всякий раз повторяю золотые слова Небесного Учителя нашего: «Если не обратитесь и не будете как дети...»<sup>14</sup> И вот, дорогой друг мой, с равными нам, с теми, кого надлежит нам почитать за образец, мы обращаемся как с подданными. Им не должно иметь воли! А разве мы не имеем ее? В чем же наше преимущество? В том, что мы старше и умнее! Боже милостивый, сущий на небесах, Ты зришь лишь старых и малых детей; а которые из них Тебе более угодны, Сын Твой давно уже возвестил. Но они, веруя в Него, не слышат Его (это тоже не ново) и воспитывают детей по образу и подобию своему... Прощай, Вильгельм! Довольно празднословия на сию горестную тему.

---

<sup>14</sup> Евангелие от Матфея, 18, 3. (Прим. переводчика.)

## *1 июля*

Что Лотта может означать для человека, лежащего на одре болезни, я испытал на собственном сердце, которое страдает сильнее, нежели иной умирающий. Несколько дней ей придется провести в городе у одной доброй женщины, смертный час которой, по словам докторов, приблизился и которая в эти последние минуты пожелала видеть подле себя Лотту. На прошлой неделе я навещал вместе с нею деревенского пастора в одном горном местечке в часе езды. Мы прибыли туда около четырех часов. Лотта взяла с собою младшую сестру. Когда мы вошли во двор священника, осеняемый двумя высокими ореховыми деревьями, старик сидел на скамье перед домом и, увидев Лотту, тотчас оживился, позабыл про свою узловатую палку и поспешно поднялся, чтобы пойти ей навстречу. Она опередила его и принудила сесть, сама опустившись на скамью, затем передала ему сердечный привет и добрые пожелания от своего батюшки, приласкала его младшего сына, чумазого противного мальчишку, утешение старости. Ах, видел бы ты, как приветлива была она со стариком, как мило возвышала голос, чтобы он, уже полуглухой, мог расслышать ее слова; как она рассказывала ему о молодых, пышущих здоровьем людях, неожиданно почивших в бозе, расписывала достоинства целебных вод в Карлсбаде и хвалила его решение отправиться туда будущим летом, уверяла его, что он выглядит много лучше, бодрее, чем в прошлый раз. Я тем временем обменивался любезностями с его женою. Старик разговорился, а поскольку я не преминул одобрительно отозваться о прекрасных деревьях во дворе, дающих живительную прохладу, он почел своим долгом поведать нам их историю, хотя это и далось ему не без некоторого труда.

– Кто посадил то, что постарше, нам неизвестно; одни приписывают сию заслугу тому пастору, другие иному. А молодое, то, что в глубине двора, ровесник моей жены, в октябре исполнится ему пятьдесят лет. Ее отец посадил деревцо утром, а она родилась вечером. Родитель ее был моим предшественником, здешним пастором, и уж так любил это дерево, что не сказать словами; да и мне оно дорого не меньше. Жена моя сидела под ним на балконе и вязала, когда я двадцать семь лет тому назад бедным студентом впервые вошел в этот дворик.

Лотта осведомилась о его дочери; он, ответив, что та отправилась с господином Шмидтом на луг, к работникам, продолжил рассказ: как его полюбил старый пастор, а затем и его дочь и как он сначала стал викарием, а после и сменил тестя на его посту. Едва успел он закончить свою историю, как в саду показалась пасторская дочка с упомянутым господином Шмидтом. Она с искренней сердечностью поздоровалась с Лоттой, и должен признаться, что она очень мне понравилась – довольно подвижная статная брюнетка, с которой всякий рад был бы скоротать время в сельской глуши. Поклонник ее (ибо относительно роли господина Шмидта скоро не осталось у меня сомнений), с виду приятный, но молчаливый человек, не участвовал в общей беседе, хотя Лотта не раз пыталась вовлечь его в наши разговоры. Более всего меня огорчило то, что, как я мог заметить по чертам его лица, необщительность его объяснялась не столько ограниченностью ума, сколько своенравием и угрюмостью. К сожалению, скоро это проявилось со всей очевидностью: когда мы вместе отправились прогуляться и Фредерика шла то рядом с Лоттой, то рядом со мной, лицо этого господина, и без того смуглое, омрачилось и потемнело настолько, что Лотта вынуждена была незаметно дернуть меня за рукав и подать мне знак, что я слишком уж галантен с Фредерикой. Меня же ничто так не раздражает, как привычка людей мучить друг друга, в особенности когда молодые люди во цвете лет, казалось бы, открытые для всех радостей, отравляют друг другу жизнь желчными гримасами и лишь спустя время осознают сию непростительную расточительность и невозвратимость потерь. Меня разозлило дутье господина Шмидта, и когда мы, вернувшись под вечер в деревню, вместе ужинали молоком, я не смог отказать себе в удовольствии перевести разговор, коего предметом

стали радости и горести мира, на нужную мне тему и высказался более чем определенно о вреде дурного настроения.

– Люди часто сетуют на то, что счастья в жизни так мало, а огорчений так много, не имея, однако, на то порою никаких оснований, – начал я свою речь. – Ежели бы мы с открытым сердцем принимали добро, посылаемое нам Господом на каждый день, и спешили насладиться оным, то достало бы нам и сил нести бремя зла в свой час.

– Однако дух наш не в нашей власти, – заметила жена пастора. – Как много зависит от плоти! Когда нам неможется, то ничто уж не радует нас.

Я поспешил согласиться с нею.

– Стало быть, – продолжал я, – не возбраняется нам рассматривать дурное расположение духа как болезнь и задаться вопросом, нет ли какого-нибудь средства против него?

– Превосходная мысль, – сказала Лотта, – во всяком случае, по моему мнению, многое тут зависит от нас. Я знаю это по себе. Когда меня что-нибудь раздражает или огорчает, я тотчас все бросаю и иду прогуляться в сад, напевая какой-нибудь контрданс, и даже не успеваю заметить, как все проходит.

– Именно это и хотел я сказать, – подхватил я. – С дурным настроением дело обстоит совершенно так же, как с ленью, ибо это именно своего рода лень. Мы все в той или иной мере подвержены сей напасти, однако стоит лишь взять себя в руки, как дело вновь спорится и работа доставляет нам истинное удовольствие.

Фредерика слушала меня с большим вниманием, а кавалер ее заметил, что человек не властен над собою, в особенности над своими ощущениями.

– Речь здесь идет о неприятных ощущениях, – возразил я, – от коих каждый желал бы избавиться; узнать же предел своих сил нельзя, покуда не испытаешь их. Конечно, если человек болен, он готов вопрошать о своей болезни всех докторов и для сохранения здоровья не остановится ни перед какими жертвами, не побоится никаких горьких пилюль.

Заметив, что пастор напрягает слух, чтобы следовать беседе, я возвысил голос, обращая свои слова непосредственно к нему.

– В проповедях своих служители Церкви обличают столь многие пороки, – говорил я. – Однако мне никогда не доводилось слышать, чтобы темою пастырских наставлений становился угрюмый нрав<sup>15</sup>.

– Пусть этим занимаются городские пасторы, – молвил старик. – Крестьянин не знает дурного настроения; а впрочем, порою это было бы не лишним и в наших краях, во всяком случае, жене моей да еще, пожалуй, господину амтману лишнее назидание, верно, не повредило бы.

Все общество рассмеялось; старик и сам от души посмеялся своей шутке, но сильный кашель, коим он тут же разразился, прервал на некоторое время нашу беседу. Затем господин Шмидт вновь взял слово:

– Вы назвали дурное настроение пороком; я нахожу, что это преувеличение.

– Ничуть, – отвечал я, – ибо свойство сие, коим вредим мы себе и ближнему своему, не заслуживает иного названия. Не довольно ли того, что мы не способны сделать друг друга счастливыми? Отчего же нам непременно надобно еще и отнять друг у друга простую радость, выпадающую на долю каждого? Укажите мне человека, который, пребывая в дурном расположении духа, пожелает быть настолько любезен, что поскорее уединится, дабы не сеять вокруг уныние и тоску! Не есть ли дурное настроение всего лишь внутреннее наше недовольство своим собственным несовершенством, досада на самое себя, всегда сопряженная с завистью,

---

<sup>15</sup> Теперь уже располагаем мы замечательною проповедью Лафатера на сию тему, в коей между прочим говорится и о книге пророка Ионы.

которую питает глупое тщеславие? Видеть счастливых людей, обязанных своим счастьем не нам, есть для нас невыносимая мука.

Лотта улыбнулась мне, заметив волнение, с которым я говорил; блеснувшие же в глазах Фредерики слезы еще более подстегнули мое красноречие.

– Горе тому, кто воспользуется своею властью над чужим сердцем, чтобы лишить его простых радостей, рождающихся в нем самом. Никакие дары, никакие блага на свете не искупят одной-единственной минуты радости, отравленной завистливою враждою нашего мучителя.

Сердце мое в этот миг переполнилось, воспоминания стеснили мне грудь, и слезы навернулись на глаза.

– Ты не в силах оказать друзьям своим большей услуги, нежели умножить их счастье, не лишая их радостей, но разделять с ними оные, – вот что надобно твердить себе всякий день! – воскликнул я. – Способен ли ты дать другу, терзаемому душевною мукою, сотрясаемому опасною страстью хотя бы каплю утешения, хотя бы немного утолить его боль?

Когда юная подруга, чьи лучшие годы отравлены тобой, лежит на смертном одре во власти последнего, страшного недуга, в полном изнеможении, устремив безучастный взор к небу, и смертный пот на бледном челе выдает близость роковой минуты; и ты стоишь в изголодь, точно проклятый, внутренне корчась от противоречивого чувства – готовности на любые жертвы ради того, чтобы вдохнуть в холодеющее сердце хотя бы каплю бодрости, хотя бы искру мужества, и сознания собственного бессилия...

Воспоминание о подобной сцене, коей я был участником, обрушилось на меня с такой чудовищною силой, что, прижав к глазам носовой платок, я поспешил удалиться, и лишь спустя несколько времени голос Лотты, звавшей меня и напоминавшей, что нам пора отправляться в обратный путь, вернул меня к действительности. О, как она бранила меня по дороге домой за то, что я все принимаю так близко к сердцу! Она говорила, что это меня погубит, что я должен побереечь себя! О, ангел! Я должен жить хотя бы ради тебя!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.